

А. И.
ЭРТЕЛЬ

Сочинения



Александр Иванович Эртель

Полоумный

«Я не понимаю прелести ружейной охоты. Но с нею связаны длинные переходы по широкому простору степей и полей, по излучистым берегам рек, ручейков и речонок, по густым зарослям топких болот, и за это я люблю охоту. Люблю с ружьем за плечами бродить по необозримым полянам, люблю отдохнуть в жаркие полдни где-нибудь в свежей тени осиновых кустов, раскинутых там и сям по этим полянам, люблю окинуть взглядом с какого-нибудь высокого кургана бесконечную даль, одетую синеватым туманом в пасмурный денек или подернутую седую дымкою зыбкого марева в знойную, тихую погоду...»

Александр Иванович Эртель
Полоумный

Я не понимаю прелести ружейной охоты. Но с нею связаны длинные переходы по широкому простору степей и полей, по излучистым берегам рек, ручейков и речонок, по густым зарослям топких болот, и за это я люблю охоту. Люблю с ружьем за плечами бродить по необозримым полянам, люблю отдохнуть в жаркие полдни где-нибудь в свежей тени осиновых кустов, раскинутых там и сям по этим полянам, люблю окинуть взглядом с какого-нибудь высокого кургана бесконечную даль, одетую синеватым туманом в пасмурный денек или подернутую седою дымкою зыбкого марева в знойную, тихую погоду.

Раз, в конце августа, выдался хороший денек. Ни одного облачка не плавало в голубом небесном просторе. Солнце не пекло, как в жаркую июльскую пору, а разливало какую-то ласкающую, благодатную теплоту. В воздухе серебряными нитями тянулась паутина. Легкий, сухой ветерок веял с востока, разнося сладкий запах сжатого хлеба, стоящего в копнах, и освежающую прохладу. Стаи сизых и белых голубей неутомно ворковали и шумно переносились с жнивов на жни-

ва, сверкая на солнце своими перьями. В речных камышах звонко щебетали скворцы.

Было воскресенье. Около обеда отправился я на охоту. Исходив не один десяток верст и почувствовав сильную усталость, я прилег в тени густой ветлы, сиротливо стоящей на берегу степного прудка, и заснул. Солнце уж низко стояло, когда я проснулся. Тень от ветлы сошла с меня и протянулась длинной полосой вдоль лощинки. Мягкий солнечный свет бил в глаза.

Освежив лицо водою из прудка, я оглянулся. К востоку, за прудком, тянулись скошенные поля, усеянные темно-бурыми копнами гречихи и проса; прямо предо мною, к западу, лежала степь; шагов на триста от прудка виднелась она и замыкалась длинною цепью невысоких курганов. Даль отделялась от меня этими курганами.

Место казалось незнакомым. Ни прудка этого, затерянного в степи, ни ветлы, одиноко стоящей около него, я не встречал в своих экскурсиях. «Что это за место?» — думалось мне. Я взошел на возвышенность. Широкий простор разостлался предо мною. «Эге! да это Та-

неевская степь!» — невольно вырвалось у меня. Вплоть до виднеющегося вдали хутора все было — степь, поросшая густой, сочной отавой. За хутором опять тянулась степь, а там опять курганы, высокие, крутые... Верст десять отделяло меня от тех курганов... Длинной вереницей тянулись они по берегу Битюка. Из-за одного пологого промежутка между ними весело горела золотая искра — то был крест красноярской колокольни.

Солнце, склоняясь к закату, принимало мягкий, красноватый свет и лучами своими, словно полымем, охватило степь. Соломенные кровли хутора весело выделялись из этого огненного моря своим желто-золотистым цветом. Ветловые узенькие рощицы, словно крылья облегшие хутор, отливали багрянцем. Маленький прудок у хутора так и горел ровным алым пламенем, — ни одна волна не морщила его гладкую, как полированная сталь, поверхность. Паутина, как золотая пыль, дрожала в тихом воздухе; те места, над которыми дрожала она, казались подернутыми каким-то лучистым колоритом. Там и сям синели стога. Длинные тени ложились от них

на траву, выделяясь темно-зелеными пятнами среди светящегося простора.

Рельефность очертаний предметов была изумительная. Дальность расстояния как бы не существовала для глаза. С природы словно флер сняли, и она всеми деталями своими ярко бросалась в глаза, нежно лаская их мягкими тонами...

Над всем этим привольем стояла невозмутимая тишь. А между тем сухой воздух словно жаждал звуков: скрип колодезного журавца на хуторе так резко пронесся по этому воздуху и разбудил такой могучий отзвук, что, казалось, вырвался из горного ущелья, а не среди неоглядно-плоских равнин... Внизу, почти у самой рожицы, ходил табун. Лошади разбрелись по сочной отаве и спокойно паслись. Черною точкою виднелся около них конюх.

Я сошел с возвышенности и направился к хутору. В это время звуки «жилеек» звонко прорезали воздух и затрепетали в нем веселыми, подмывающими нотками... Конюх заиграл «бычка». Бойкий мотив шаловливо переливался по тихому простору; откуда-то издалека неся навстречу ему такой же бойкий,

такой же игриво-веселый отзвук. Казалось, новые, славные тоны пробежали по степи и подернули ее еще более нежным, еще более ласкающим колоритом... Глубоко дышала грудь сладким, пахучим воздухом... Слух нежили задорно-веселые звуки нехитрого инструмента... «Весело на белом свете!» думалось...

А солнце все ниже да ниже опускалось... Тени от стогов тянулись длиннее и длиннее... Кровли хутора начинали алеть... Ясная поверхность прудка зарделась багровым пламенем... Небо на западе переходило из бледно-голубого в нежно-розовый цвет... Горизонт на востоке охватывала хмурая синева, а над синевой слабо горело бледно-фиолетовое отраженье заката.

Я шел к хутору. На перепутье пасся табун. Звуки «бычка» все еще трепетали в воздухе. Конюх, игравший на жилейках, сидел, поджавши ноги, на разостланном кафтане. Это был малый лет двадцати, русский, почти белый, в красной кумачной рубаше; широчайшие плисовые штаны были вправлены в узкие «вытяжные» сапоги; серая, «крымская»

шапка сидела набекрень, придавая вид удалости и беспечности курносому, безусому лицу. Глаза глядели весело и задорно.

— Здорово, барин! — закричал он мне, когда я подходил к нему. Широчайшая улыбка показалась у него на лице.

— Вот и не угадал! — сказал я, тоже смеясь и подлаживаясь под его непринужденный тон, — ишь, не барин, а простой мещанин...

— Ну, рассказывай! кабы мещанин, ты бы куцую одежу-ту не напялил, смеялся конюх, подходя ко мне, — мещане-то кошек скупают, по оконницам кнутиком постукивают, а ты вон с ружьем!.. Какой же это мещанин?

Приходилось соглашаться с этим неоспоримым аргументом.

— Нет ли у тебя чего покурить? — обратился он ко мне.

— Есть, есть, — сказал я и достал ему папиросу. Наивная бесцеремонность и какая-то словно детская простота занимали меня в конюхе. Я закурил и расположился рядом с ним на кафтане, который он предупредительно предложил мне.

— Тебя как звать-то? — спросил я.

— Петрухой звали...

— Это чьи, танеевские, что ль, лошади-то?

— Его. И, братец, богат же наш барин! —

Петруха восторженно поднялся с места, — это вот холостые шестьдесят голов, — указал он на табун, — а там вон за Рогатым прудом матки ходят, штук пятьдесят, а вон за теми курганами коньки еще, голов пятьдесят! — Он победоносно взглянул на меня.

— У него, помимо хутора-то, где именья? — интересовался я.

— У него их, мал, целый содом, именьев-то!.. Сичас это будет тебе Андрусовка за Битюком, да Ольховатка, да Тарасовка на Плавице... Тарасовку-то недавно купил... А там еще, говорят, где-то до пропасти...

— Что ж, хорош барин-то ваш?

— Ммм... — замялся Петруха, — да как тебе сказать... Горяч больно! добавил он после маленького раздумья, — сичас тебя оборвет, а глядишь, ни за что... Барин богатый!

— Что он, уж старик?

— Какой тебе старик!.. Еще никак двадцати пяти годов нету, женился недавно, такую шустренькую взял!.. А чин на ем, должно,

важнейший, потому летось я его как-то в церкви видал: весь в золотых тесемках увешан... Как жар горят! А штаны кра-а-асные!..

— Давно ты живешь в конюхах-то?

— Нет. С весны нонешней. Как за подушным погнали, батюшка пошел в контору да под меня пятнадцать целковых взял. С той поры я вот и зачал жить.

— Сколько же ты берешь в год?

— Тридцать пять целковых.

— Что так мало?

— Да как же оприч? вперед деньги взяли...

Уж тут известно — сбавка, что дадут, то и бери.

— Ты откуда сам-то?

— Сакуринские, знаешь? Около Яблонца.

— Знаю, знаю... Ты что же у своего барина-то не нанялся?

Петруха засмеялся.

— Куда ему! он сам прогорел, иной раз пожрать нечего... Куда уж тут деньги вперед давать!

— Где же он прожился так?

— Да чего! — смехота тут, страсть! — Ишь с купцами связался, торговать стал, завод

мыльный завел, да и прогорел... Теперь с торговли-то на собак передуло: все зайцев по полю гоняет.

Вдали, по дороге от хутора, показался верховой на серой лошади.

— Ну, слава богу! — обрадовался Петруха, — Егорка Полоумный едет!..

— Кто это — Егорка Полоумный? — спросил я.

— Да это конюх, со мной табун стережет. Ишь, на смену едет... Теперь вот мне обapol полночи нужно к табуну выезжать — как совсем на хутор гнать.

— Что же это у Егора прозвище такое чудное? — допытывался я.

— Полоумный-то? — Это его у нас на деревне прозвали так-то, засмеялся Петруха, — ишь, он в одну девку врезался, — Гашка там есть, — а она возьми да загуляй с купцом; он с тех пор и ополоумел...

— Как же он ополоумел?

— Известно как... Чуть человек незнамый встрелся ему, он и давай все выворачивать: как это полюбилась ему Гашка, как с купцом связалась... да все, все расскажет... А смеяться

станут, схватят что ни на есть в руки, да и норовит ошарашить... Мы уж теперь перестали над ним зубоскалить, того гляди убьет — бо-язно... Кучер Никифор Иваныч сказывал, что и в Питере он такой-то был.

— Да разве он был в Питере? — спросил я.

— Как же, он там в конюхах у нашего барина жил. Ноне весной приехал только... И теперь окромя у него речей нету, что об Гашке!.. Заговорь о чем ни на есть, либо промолчит, аль буркнет словечко... А вот по лету, уйдет вон к курганам, — Петруха указал на бугры, чернеющиеся на фоне огневого заката, — и лежит там день-деньской... Я раз так-то пошел искать его по степи, нужно было табун выгонять, а он лежит, это, на кургане, — вон что над самым Битюком, — выше его нету; подхожу я, это, — почитай на него наступил, — а он словно и не видит... Выпучил глаза на небышко да глядит... Что ты, мол, глядишь, Егор? — а он как вздрогнет: на Битюк, мол, гляжу... А в ту пору Битюк еще в берега не вошел: в разливе был... Чего ж, мол, его глядеть-то? пойдём табун выгонять... А он, это, братец ты мой, как схватит себя за виски

да как заголосит, меня аж оторопь взяла...

Недоумение пробежало по добродушному лицу Петрухи, но тотчас же уступило место обычной наивной веселости.

— Ну, барин, пойдём к хутору, что ли? Ведь ты небось у нас ночуешь-то? Где же тебе оприч!

А меня сильно заинтересовал Полоумный. «Что он? кто он?» — копошилось в голове: если он от любви такой-то стал, то это ведь не частое явление в крестьянском мире, где любовь по большей части оканчивается свадьбой, а после нее становится уж привычкой... Я решил познакомиться с Полоумным.

— Нет, Петруха, я, видно, полежу еще тут. Идти не хочется. Тогда на ночь приду...

— Ну, приходи на ночевку, я тебе на сеннике постель стготовлю.

— Спасибо.

Петруха стал готовиться в отъезд. Поймал стреноженную лошадь, распутал ее, взнуздал, второчил кафтан. Егор подъезжал к табуну. Лошадка его бойко и скоро шла красивым, развалистым шагом. Я с любопытством стал вглядываться в Полоумного. Яркие лучи захо-

дящего солнца падали ему на лицо, и оно казалось словно из бронзы вылитым. Строго очерченный профиль характеризовал это лицо. Тонкие, сжатые губы опушались черноватыми усиками; из-под широких сдвинутых бровей блестели большие, не то грустные, не то злые глаза. Печать какой-то суровой, сдержанной тоски лежала на всем этом загорелом, желтом лице, с резкими, некрасивыми на первый взгляд, чертами. Чужая согнутая, подавленная сила в этом «полоумном»...

— Что-й-то ты долго, Егор? уж я ждал, ждал... — упрекнул Петруха.

Егор промычал что-то в ответ, слез с лошади и начал ее треножить. Петруха, тонко усмехнувшись, кивнул мне на него и, мешковато садясь на своего поджарого гнедого коня, спросил:

— Ну что ж, придешь ночевать-то на хутор?

— Приду, приду...

Петруха поехал к хутору.

— Ты что ж не пошел на хутор-то? — угрюмо обратился ко мне Егор.

— Да уморился больно — отдохнуть хочет-

ся.

— Далеча ходил-то?

— С ружьем ходил, да исходил порядком: пошел-то от самой Сухопутки, даже до Титовых дворишков доходил, а вот оттуда вплоть до вашей степи...

— Ты сам-то чей?

Я сказал.

— Что же это ты: исходил много, а дичины с тобой нету? — усмехаясь, спросил Егор.

— Не из дичины хожу, — сказал я, — скучно станет на хуторе, а денек выдастся хороший, вот и пойду бродить... А славные у вас тут места! добавил я, бросив взгляд на окрестность.

— А ты был вон на Крутом кургане? — оживленно сказал Егор и, приподнявшись, указал на высокий курган.

— Нет, туда не доходил.

— Ты вот сходи-ко туда... С него страсть как видно!.. Тут тебе Битюк разливается... У самых берегов да на островах леса зеленеют, а промеж лесов, села раскинулись: Тамлык, Паршиково, Ровенское, Подлесное, Яблонец... А там Красноярье на круче... Приволье! куда

ни глянешь, все колокольни белеются да кресты жаром горят... В ясный денек аж рыбинская церковь видна, верст двадцать будет... Как все равно синим туманом заволокет ее, церковь-то, только кресты, словно огоньки, блистают на солнышке... Тут тебе у реки сёла да деревни приютились, словно от врага схоронились, а по верху, вдоль Битюка, бугры да курганы тянутся... В старину, говорят, их богатыри понасыпали... За Битюком кусты таневские чуть синеются: Дальний куст, Травин куст... хороши есть у нас места! — добавил он после легкой задумчивости и тихонько вздохнул.

— За Битюком тоже хорошие есть места, — сказал я.

— А ты бывал за Битюком? — спросил меня Егор.

— Был как-то.

— Сакуриных знаешь?

— Нет, там не был. Около был, у одного купца на хуторе.

— Это у кого, не у Парменова ли? — угрюмо спросил меня Егор.

— У него, у Евграфа Парменыча...

— Его теперь, старика-то, нету на хуторе, там сынок разделявает, Мишка! — Злость слышалась в тоне Егора.

— Слышал, — сказал я, — говорят, что малый пустой.

— А собой-то он как раз на борова кормного похож... Двадцать шесть годов ему, говорят, а толщины-то что твой бык, ишь восемь пудов тянет... Рожа — словно стол широкая да скуластая, глаза — пьяные да шальные, бровей совсем нету... Пьян без просыпу с утра до ночи... — Егор с негодованием плюнул. — Этакое безобразия искать — не скоро найдешь!

Он опять понурился. Тяжело было смотреть на его тоскливое, истомленное лицо, то вспыхивающее болезненным румянцем, то желтое, желтое... Две-три глубоких морщинки залегли на высоком лбу, придавая этому лицу какое-то старческое, заботливое выражение; жалкая, не то злая, не то унылая усмешка искривляла губы... Руки постоянно находились в движении: он то теребил ими войлок, на котором сидел, или полу кафтана, то рвал траву, далеко отбрасывая ее в сторону... Солнце закатилось. Горизонт на западе

охватила румяная полоска. На потемневшем востоке, слабо мигая, вспыхнула звездочка. Вечерние тени обнимали степь. Курганы хмурыми силуэтами выделялись на розовой зорьке. В прохладном воздухе было тихо, тихо... Трава подернулась влагой, а там, где тени были гуще, где они лежали с самых полдён, — около рощи, у стогов, — начинала ложиться матовая роса.

— Я вот расскажу тебе про этого Мишку! — внезапно, обернувшись ко мне, заговорил Егор. Заговорил он быстро, отрывисто, словно спеша. — Есть там у нас на селе девка одна — Гашкой звать... У ней отца нету, а, стало быть, братишка годков десяти, две сестренки махонькие, да мать с бабкой... Мы соседи с ними... Ну, с измалетства мы с этой Гашкой водились... Бывало, по лету в рощу с ней уйдем... В ту пору около села-то роща была, теперь ее и следов не осталось — все купцам продали... Зайдешь, бывало, в самое что ни на есть густое место — чащу — да сидишь там с нею... Девчонка-то она была шустрая, ничего не боялась... Чего, бывало, не делали! венки вьем, сказки друг дружке сказываем, песни

играем... Знамо, ребячье дело!.. А в лесу по лету-то страсть как хорошо... Тут тебе, это, пташки поют всякие, кукушка кукует, гор- линка турлычет, соловейко свищет-надрыва- ется... Кругом не шелохнется, только листва вверху над головами словно река в половодье шумит... небышко синеется сквозь нее — сквозь листву-то... И жутко иной раз, особли- во под вечер, и весело... А то день-деньской в поле с ней... У ней братишко-то больной ка- кой-то был, почти с печки не слезал, — ее, иной раз, и нарядят скотину стеречь... А я-то, как себя запомню, все пастухом был... Ну, кор- ма тогда были не нонешние, — вольные кор- ма... Сидишь себе, на скотину-то и не смот- ришь... Знамо, сытый скот всегда спокоен, вон погляди на них, — Егор кивнул головою на табун, — а нам воля... У нас в барском поле Волчий бугор есть, прозывается, — посреди поля стоит, — и как зайдешь на него, тоже страсть видно: церквей, церквей, это!.. Ну, мы обапол полден всегда уж к Волчему стадо под- гоняли — водопой там близко есть, озеро... Скотина напьется, ляжет на тырло, а мы на бугор, и сидим там словно птицы вольные...

Либо вокруг глядим... а вокруг все поля идут — глазом не обоймешь, а там села, деревни, хутора... Битюк словно туман белеется — он от бугра-то верст восемь... За Битюком леса синеются, а за лесами, в жаркий день, словно волны какие обеда[1] по степям бегут... А то ляжем навзничь да на небышко посмотрим... А оно синее, синее... Иной раз облачки барашками бегут по нем, иной раз словно паутина раскинется... А то глядишь, глядишь так-то, ничего тебе в небе нет — как есть одна синева, а иной раз коршун покажется, словно с самого неба вынырнет... После успенья журавли потянутся, затурлыкают... гуси, утки отлетать начнут... эх, весело, бывало!

Он опустил голову на руки и задумался.

— Ну, вот росли мы так-то с Гашкой... Известно, свыклись... Она еще девчонкой хороша была, недаром теперь первая на селе... Пошли у нас тогда худые времена... Перво-наперво волю дали, — тут радости было немало, у кабатчика никак целую сороковку в те поры выпили... Землю нам тут нарезали, стали выселять с старых мест, а на новых-то нет

тебе ни пруда, ни речки, — уж колодцы вырыли... Тут с переселенья-то пошло все хуже да хуже... Земля год от году стала менее рожать... Зачали тут наши деревенские под работы браться по зиме, — допрежь того николи не бывало, чтоб за полгода под работу наниматься... Тут господа стали проживаться помаленьку... Наш прогорел в прах... Проявились купцы посеवщики... Стали у господ землю скупать да снимать, свои купецкие порядки заводить... Вот этот Парменов купил возле нас хутор у одного барнишки. Стали мы на него работать... Зачал он нам в долг верить, и товаром, а пуще того землею. Все втридорога... С той поры мы и процент узнали, какой такой он есть!.. Закабалил Парменов как есть всю деревню, куда супротив барского порядка тяжелее... Старики сказывают, что когда барские были, не в пример вольготней жилось, особливо коли барин хороший попадался, вот хоть бы к примеру Танеев покойник, Михал Павлыч: супротив его мужиков жителей в округе не было, а теперь плоше их, почитай, нету... А тут еще неурожай пошли: то год мочливый, то сухменный, то совсем не родится,

кто ее знает с чего, то градом выбьет... беда за бедой!.. Чугунки пошли — извоз отбился... Со всем мы обнищали...

Он замолчал. Невеселые думы, по-видимому, роились в его голове. Голос становился все более и более протяжным и тоскливым.

Я не заговаривал, как-то совестно было бедить его горе... А над степью догорал хороший, тихий вечер... Быстро смеркалось. В темно-синей высоте одна за другой загорались звезды; зелеными, красными, синеватыми огоньками светились они... Свежий вечерний воздух разливал какую-то здоровую, веселую бодрость по телу... Грудь высоко поднималась, вдыхая этот воздух, легкие энергично работали...

Каким-то нескладным диссонансом звучала в этом живительном воздухе несвязная речь Егора. Дико становилось...

А Егор опять начал свой рассказ. Опять протянулась его несвязная, тоскливая до истомы речь, — опять слышался его слегка дрожащий, щемящий голос...

— Ну, и стали мы тут землю сымать у Парменова, — подать надо платить, да и са-

мим-то с своего наделу впору с голоду помирать. А за землю купцу, известно, зарабатывали. За подожданье тоже платили — процент этот... Так-то и стали у него все в долгу... Ну, когда старик-то хозяйничал, все ничего было. хоша и драл с нас за все про все, да озорства никакого не было, — а вот как поступил на хутор Мишка, тут и пошло... Бабам да девкам проходу не стал давать, а чуть заартачатся аль судом погрозят, — бывали такие-то, сейчас это долгом пугнет: «Разорю враз», говорит...

На ту пору мать-то Гашкина задолжала Парменову тридцать три целковых... Я знал завидующие Мишкины глаза и говорю Гашке, не показывайся, мол, толстому дьяволу... А она в ту пору уж выравнялась — как есть красивая девка стала: чернобровая да статная...

В прошлом году это было. Весна открылась ранняя: на святой по улице аж пыль стояла... Долго я буду помнить эту весну!.. Гашка о праздниках и с девками не якшалась; на улице тоже перестала ходить, — все, бывало, со мной... В обед, это, уйдем на гумно, — там у нас пчельник есть, — и сидим до поздней за-

ри... И чего тут мы не переговорили!.. А всего чаще, бывало, сидим около амшенка на солнышке, да молчим, любуемся... Весело! — в небе жаворонки играют, с теплых морей птица всякая летит... Зеленая травка пробивается, верба цветет, ветерок теплый подувает... А уж хороша была Гашка эту весну!.. — Егор тряхнул головой и весело усмехнулся, но усмешка эта сразу сбежала с лица и заменилась прежним унылым выражением.

— Тут мы распрощались с нею до осени, — потому я с самого Егорья на низы шел, на все лето, — сказывали, что заработки там дуже хороши; опосля-то все это брехня одна вышла... Ну, как ворочусь я, решили мы с Гашкой повенчаться. Ни батюшка, ни ее мать нам не поперечили, только все на нужду жалались, потому на свадьбу, как ни бейся, а сорок целковых надо деньги в нашем быту немалые!.. Вот и пошел я добывать эту деньгу на низы в казаки...

Без меня тут и стряслось горе. Ехал как-то Мишка Парменов по нашей деревне, да супротив Гашкиной избы и захоти пить. Подъехал к сенцам... На ту пору Гашка там была,

она ему и пить подавала... Раззарился он тут на нее, — прямо к Андронихе полетел, — солдатка... Подавай, говорит, Гашку! это он уж расспросил как звать-то... Андрониха к Гашке... Ну, та ее, знамо, спровадила. Тянули они так-то с неделю, все самоё Гашку хотели сомутить, а напоследок Андрониха прямо к Петровне, — это мать Гашкина-то. Та было сначала Андрониху в шею, а Андрониха ее долгом зачала стращать... Ну, известно, испугалась баба: долгу-то тридцать три целковых, да в посеве еще одна сороковая ржи была, стал-быть опять двадцать целковых — где их взять, столько денег-то!.. Поговорила Петровна с Гашкой, и надумались ко мне писать: нельзя ли мне из казатчины деньги выслать... Горе только одно! какие там деньги... Перво-наперво пришли мы к покосу, народу собралось страсть, ну, за дешевку и нанялись. А там как пшеница стала поспевать, — к Ростову пододвинулись, — в Ростове я и письмо получил... — Сунулся я к хозяину, денег вперед попросить, он только загоготал в ответ... Известно, кто даст незнамому человеку?.. Взяло меня тут горе... Так я и ответу Гашке не

дал: что, думаю, без денег письмо посылать, только смех один!..

А на ту пору Мишка с Андронихой не дремали. Стали они все пуще Петровну стращать... Та долго крепилась. Ну, тут подал на нее Мишка в суд: как раз в самую рабочую пору, уборку... Измучилась баба, таскаючись к мировому — мировой-то верст за сорок жил, а Мишка-то три расписки все порознь подавал... Гашка с рожью все одна маялась, да на помочь кой-когда Христом-богом упрашивала... Ну, иной раз, праздником аль в досужую пору, девки и пожнутя, ее жалеючи... А на жниве-то все про то же: все Гашку слухами да Мишкиным богатством смущают...

Сходила, это, Петровна к мировому три раза, и присудили с нее семьдесят целковых, — ишь, издержки какие-то еще... Тут Петровна и сробела... Стала дочь родную на непутное дело наводить... И разорит-то нас и загубит, по миру пустит... Девка и руками и ногами... Мать уж серчать стала: Егорке-то, говорит, все равно — тебя с греха не убудет, все такая же будешь, — а пропадать-то мы не пропадем... Сама уж Петровна сказывала опосля: день-

деньской, говорит, пилю, пилю ее... раза два доводилось и за косы, — а как останусь одна в избе, аль в клеть зайду, да и заливаюсь там горячими. Промаялись они так-то до покрова, и Гашка и мать извелись совсем, Гашка уж на себя руки наложить задумала, да все оторопь брала, ну и меня-то с низов поджидала...

А я, на грех, в самый успеньев день свалился, да вплоть до Кузьмы-Демьяны провалялся в горячке. Деньги, что заработал, за хватеру пошли, так я Христа ради и до дому добрался... Тут осенью, с неделю спустя после покрова, приехал к Петровне пристав, описал все: коровенку, овец, амбарушку, кобылу, — одна и была... Через семь дён и продажу объявил. Побежала тут Петровна к Мишке, в ногах валялась, слезами обливалась, а он только гогочет, толстый дьявол... Озlobилась тут Петровна, пришла, набросилась на Гашку, стала ее попрекать... Напоследок аж обмерла... Известно, детишки махонькие, надо их прокормить, надел-то на одну душу всего, да и тот грозил мир отнять — недоимка становилась... Где бабе справиться?.. А тут еще осенние подушные подходили, она уж и так коровенку на подуш-

ное хотела продать — год-то тогда плох был, сухменный: ржица еще родилась, а яровые совсем погорели...

Егор замолчал и отвернулся от меня. Не то мне почудилось, не то и вправду в его глазах словно слезы блеснули... Разве то недобрый огонек сверкнул в них? — и то может быть...

— Говорят, силком Гашку-то он загубил... — после непродолжительного молчания проронил он глухим голосом.

— Где ж она теперь? — спросил я.

— У него, у Мишки...

Я удивился.

— Что ж мать-то?

— А чего поделаешь... Она с той самой ночи и не вернулась, так у Андронихи и осталась, а опосля к Мишке на хутор переехала...

— И не уходит от него?

— Куда ж уйдешь, — срам! Пыталась, говорят, утопиться, да не допустили... Теперь-то оборкалась, должно... Уж скоро год как она там, сакуринским-то не показывается, а чужие видают... Работники-то ее уж хозяйюшкой величают, — ишь, не нахвалятся... Только худа, говорят, больно словно испитая... Да водку

зачала шибко испивать...

— Ты так и не видал ее?

— Притащился я к Михайлову дню ко двору еле живой, да как порассказали мне про все, — сама Петровна и рассказывала, — я опять свалился. До рождества, почитай, пролежал, а об рождестве в Питер уехал, у Танева в конюхах там жил... Вот ноне по весне только пришел, прямо на хутор сюда...

— Да тоска вот дюже грызет, — продолжал он каким-то апатичным, усталым голосом, — все стоит вот она в глазах, скучная да худая... Так и ноет сердце, так и сосет... В Питере плохо, думал, как на степь вернусь — легче будет... Как же, полегчает!.. Надясь наказывала повидаться, закаменело мое сердце — не пошел, а наутро хоть бы удавиться в пору... Тоска одолела...

Он замолчал и лег вниз лицом.

Лошади почти все уже улеглись и тихо хрустели, пережевывая траву. Изредка раздавалось шумное фыркание, резко тревожа сонный воздух, и опять вставала тишь над степью... На западе, у самого горизонта, едва мерцала узкая белесоватая полоска — остаток

вечерней зари. Темное, почти черное, небо сверкало крупными звездами. Изредка какая-либо из них быстро скатывалась куда-то и исчезала, оставляя на мгновение огненный след... Куда она уносилась, эта звездочка?..

Тяжело становилось на душе после рассказа «Полоумного»... Тяжело было сознание того, что вот наряду с этой роскошной природой, наряду с этим широким простором и земли благодатной и чистого, вольного воздуха, может существовать горе — не измышленное, а действительное, реальное, неумолимое...

Сдержанное рыдание послышалось... Я испуганно наклонился к Егору. Он весь конвульсивно вздрагивал, зажимая лицо руками. Плечи его тяжело приподнимались... Рыдание было хриплое, сухое, злобное... Я вспомнил почему-то о своем тихом семейном уголке, о своей беспечальной юности, о своей любви...

*Веселая беседушка,
Где батюшка пьет...*

пронеслось по-над степью со стороны хутора.

...Пьет...

— отозвалось в роще жидкое эхо.

*Он пьет, не пьет,
Родимый мой,
За мной, молодой, шлет...*

Эхо чуть слышно откликнулось;

*...адо́й шлет!
А я млада, младешенька
Замешкалася...
В шелковой я травушке
Запуталася...*

Песня приближалась к нам. Егор утих; лишь судорожное движение плеч доказывало его усилия сдерживать стоны и вопли...

— Е-го-ор! — слышалось из темноты. То был голос Петрухи.

За окликом конское ржание слышалось. Из табуна звонко ответили на него. Лежавшие лошади стали вставать: их красивые силуэты зачернелись около нас. Егор поднялся. Зычно крикнул он в ответ Петрухе и пошел в середину табуна. Через пять минут он уж сидел на своей лошадке и стогнял табун. И он сам и лошадка его казались черными и резко

выделялись на звездном небе...

Ржание, фыркание, окрики понеслись над степью, побежали в глубокое поднебесье... Я взял ружье и побрел вслед за табуном. Петруха подъехал к нам и поехал возле меня.

— Что, ведь правда — полоумный? — спросил он меня шепотом и кивнул в сторону Егора. Я промолчал. Он опять вполголоса затянул свою песенку, изредка прерывая ее зычным окриком... Впереди табуна ехал Егор.

— Э-эх! — каким-то тоскливым стоном вырвалось у него. Я вздрогнул... Петруха перестал мурлыкать свою «беседушку» и за что-то ругательски изругал своего мерина...

*Эх... не одна-то ль, не одна во поле
дороженька,
Одна пролегала...*

затянул Егор.

— Эка голосина-то! — шепнул мне Петруха.

*Она ельничком, мелким березничком
Она зарастала...*

Правда, голос был хорош: звонкий, тягучий...

*Частым ли, частым, горьким
осинничком
Ее застилало...*

...Только уж больно тосклив да жалостлив был этот голос... Словно не песню он пел, а слезную жалобу какую-то... Слушаешь, слушаешь ту песню, дело идет в ней о дороженьке, что пролежала по широкому, чистому полю, а так и чудится, что то не о дорожке идет речь, а о жизни, безвременно загубленной, о доле бесталанной, о любви опозоренной...

*...Эх ты, прости-прощай, мил сердечный друг,
Прощай, будь здорова...
Коли лучше ты меня найдешь, —
меня позабудешь...
Коли хуже ты меня найдешь, —
меня вспомнянешь...
Вспомнянешь!*

гулко прокатилось из рощи...

Табун проходил по плотинке. Где-то сквозь нее, тихо журча, просачивалась вода... В прудке отражалось глубокое небо с своими звездами... Постройки хутора зачернелись перед нами. Послышался чей-то старческий кашель, и

заспанный голос произнес:

— Вы, что ль, ребята?

— Мы, дедушка Тихон! — откликнулся Петруха.

Дедушка Тихон зевнул и заскрипел воротами. Я глянул за прудок, на степь: бледный свет обнимал небо на востоке, Стожары начинали меркнуть, легкий туман поднимался от земли; коростель резко закричал где-то за рощей...

Что-то серое, холодное, сырое повисло над степью...

— Пойдем спать, барин! — позвал меня Петруха.

Я полез за ним на сеновал.

Прошел год.

Наступила непогожая, мокрая осень. Пошли непрерывные дожди. Потянулись серые, сумрачные дни, темные, долгие ночи. Со дня на день ждали снега.

Как теперь помню: было 22 ноября, когда я, проездом в Петербург, дожидался поезда на одной из больших перекрестных станций. Ждать приходилось долго — часов восемь. В длинном деревянном вокзале сновала суча-

ющая публика; некоторые спали на диванах, другие пили чай, закусывали чуть ли не в десятый раз... В зале царствовал полумрак. Серенький, мокрый денек скудно лил свет в большие плачущие окна.

Наскучив ходить взад и вперед по зале, я вышел на платформу. На дворе было еще невзрачнее, еще тоскливее, — сыростью веяло. Моросил мелкий, холодный дождь, обливая открытую дощатую платформу и однообразно барабаня по железной крыше вокзала. Серые, тяжелые тучи низко стлались над землею; вдали, за селом, за мутной, волнистой рекой тянулись широкие желто-грязные поля... Около полотна дороги, между шпалами, стояли лужи; в них монотонно шлепали дождевые капли, морща и пузыря грязную, мутную воду. В маленьком садике, примыкавшем к вокзалу, сиротливо торчали оголевшие, черные деревья... Желтая листва лежала по дорожкам. В мокром воздухе было тихо не дул резкий осенний ветер. Из водосточных труб, с крыши звонко стекала вода... Со всего капало, все было сыро... Природа словно плакала.

Вдали, за вокзалом, маневрировал локомотив; густой пар клубился и шипел, расстилаясь седым туманом над самою землею и кутая близлежащие здания. Свисток глухо и уныло, словно нехотя, разрезал сгущенный, влажный воздух.

Тоска одолевала среди этой сумрачной, кислой природы... Невеселые мысли лезли в голову...

Пройдя раза два по длинной скользкой платформе, я опять направился в вокзал и спросил кофе. Публика все сновала по зале, скучная, сумрачная... Тошно становилось, глядя на вытянутые, тоскливые лица... Разговора почти не было слышно... Лишь однообразное шмыганье ног по каменным плитам пола, дребезжащий стук тарелок за буфетом да отрывочные сердитые требования чаю, кофе, водки слышались в зале...

Я только что принялся за кофе, как над моим ухом раздался голос:

— Вы господин N?

Я быстро оглянулся. Предо мною стоял офицер; лицо казалось незнакомым.

— Что вам угодно? — спросил я, сильно

недоумевающая, — я действительно N.

— Друщецкий... Помните, познакомились в Москве?

— А... Николай Данилыч! — я радостно протянул ему руки.

Год тому назад мы познакомились с ним в вагоне, по дороге в Москву. Он приводил партию солдат в Тамбов и оттуда возвращался через Москву в Варшаву. В Москве ему приходилось быть в первый раз, мне тоже, отсюда одинаковые интересы. Мы решили вместе остановиться и осмотреть «сердце» России. Друщецкий оказался добрым малым, умным наблюдателем, веселым собеседником. Время прошло у нас незаметно, тем более что всего и времени-то было два дня...

Я обрадовался ему. Вспомнили прежнее. Посмеялись одному комическому эпизоду, происшедшему с нами при осмотре Ивана Великого. Сравнили стряпню Гурина с вокзальной стряпней. Ознакомили друг друга с новостями: он меня с варшавскими, я его с N-ми...

— Как же я вас раньше не видал? — спросил я его.

— Да я тут знакомого офицера встретил.

тил — партию арестантов ведет ну, пошли с ним в гостиницу, на биллиарде сыграли...

— Где же он?

— Пошел своих проведать. Они там, в зале третьего класса расположились... Да вот и он!.. — кивнул Друщецкий.

Я оглянулся. К нам подходил молодой белокуренький офицерик. Познакомились. Оказался какой-то Носович, малоросс, наивный, застенчивый... Мы стали ходить по вокзалу, прошли и в третий класс. В глубине зала этого класса блестели штыки конвойных; за нами серелись неуклюжие халаты арестантов; лязг цепей доносился оттуда... Я подошел поближе к арестантам. Офицеры мои опять направились ко второму классу.

В кучке арестантов слышался тихий говор. Кто-то рассказывал, как он бежал «с поселения», из Тобольской губернии. Рассказу жадно внимали. Я заметил пару серых блестящих глаз, пристально следивших за рассказчиком. То были глаза седого изможденного старика. Конвойные немилосердно зевали и перекидывались отрывочными фразами. Я было повернулся, чтобы идти, как вдруг знакомое ли-

цо мелькнуло среди ссыльных... В одно мгновение пронеслось в моей голове воспоминание о летней ночи, о танеевском хуторе, и даже Стожары вспомнились, потухавшие в бледном рассвете...

— Егор!.. ты зачем сюда попал? — почти вскрикнул я.

Да, то был Егор. Крупные черты его смуглого лица резко выделялись среди лиц со товарищей. Он страшно похудел и вообще изменился. Только карие суровые глаза, казалось, еще ярче, еще жгучее горели... Нехотя поднял он на меня глаза, и как будто радость сверкнула в них; он, видимо, узнал меня, приподнялся и подошел ко мне. На его ногах звонко загремели цепи. Я протянул ему руку. Солдатик отстранил меня: «Не велено», — сказал он. Егор опять опустился на скамью, где сидел, махнув мне безнадежно рукою. Он что-то сказал при этом, но я не расслышал... Я поспешил разыскать Носовича, который, разумеется, тотчас же дал мне позволение поговорить с Егором. Мало того, он даже любезно разрешил мне походить с Егором по платформе, сказано, что юноша был наивный... Впрочем,

он прежде уверился, что Егор из «легких», идет только на «поселение», стало быть не «опасен»...

И вот под аккомпанемент цепей повели мы разговор с Егором. Мелкий дождик мочил нас, ноги скользили по лужам, образовавшимся на платформе...

— Что, барин, небось не чаял меня встретить скованного-то? — спросил он меня, печально усмехнувшись.

— Как это тебя угораздило? — спросил я.

— Да все злодей-то мой — Мишка... Вот погоди, я все тебе по порядку расскажу... Душу хоть отведу... Помнишь, я тебе сказывал тогда, что Агафья-то повидаться со мною хотела?.. В те поры-то я не пошел, ну, а потом не стерпел — повидался... Что ж, горе одно! Разливается, бедняга, рекою... Извелась вся... Уж как он ее, окаянный, не разлюбит-то все!.. Говорит мне Гаша-то: пуще всего мне тебя жалко да срамно больно... Ну, наслушался я да насмотрелся на нее, сердешную, — тут голос Егора дрогнул, — да и порешил... Не пришлось дело-то... Только амбары успел подпалить, тут меня и словили... Оплошку сделал — со-

бак не задобрил... Ну, с полгода в остроге просидел, а теперь вот на поселенье гонят... Еще каких-то «правов» лишили, — усмехнулся Егор, — ну, это-то, должно, смехота одна: какие у нашего брата права!..

— Чего ж Агафья не ушла от Парменова-то?

— Уйди-кось, — он горько усмехнулся, — первое дело — срам, полюбовницей была, на селе проходу не дадут — другое дело — долгу-то все прибавляется, а там, на селе, мать сама-пята... Тут один конец — либо в воду, либо... Так вот она и мается... Хотел я с ней повенчаться, уехать отсюда куда глаза глядят... Мишка и говорит ей: пускай долг-то отдаст твой суженый... А долгу-то, смешно сказать, сто тридцать целковыхросло!.. Мать плачет, горится, — пропаду, говорит, без тебя... Ну, известно, — баба! — добавил он после легкого раздумья. — Видно, так тому делу и быть... На роду написано... Видно, и впрямь нашу дорожку «горьким осинничком застлало»... — Он лениво усмехнулся.

Какое-то холодное бесстрастие сквозило в его речах, — словно застыл он. Правда, голос

дрогнул раза два да злая усмешка иногда искривляла тонкие губы, но я видел Егора, с небольшим год тому назад, рыдающего, озлобленного... Теперь уж не было того Егора. Он как-то сжался, сосредоточился... Только глаза лихорадочно, воспаленно блестели... Еще две-три морщинки прорезали его лоб, в черных, коротко остриженных волосах кое-где делалась седина...

На дворе темнело. У входа в вокзал зажгли фонари, в залах тоже показались огни. Дождь усилился и бойко шуршал по железной крыше. Сигнальный колокольчик оглушительно зазвенел — поезд был за одну станцию. В дверях показался Носович с Друшецким.

— Что, наговорились? — закричал мне Носович.

— Не велишь ли что родным передать? — обратился я к Егору, — я, может, буду в ваших местах.

Он было оживился, но только на одно мгновение. Обычная бесстрастность опять овладела им. Его, видимо, даже начинало тяготить мое присутствие. Радости, выказанной им при встрече со мною, не замечалось и сле-

да...

— Чего ж наказывать? — нехотя протянул он, глядя в сторону, — кажись, нечего... Только, может, Агафью увидишь у Парменова, — скажи, кланяется, мол...

Мы простились.

Через пять минут с багажом в руках все высыпали на платформу. Дождь усиливался; он уж гремел, а не шуршал по крыше. С наших зонтов стекала вода. Подходящий поезд тяжело грохотал в мокрой тьме, зловеще сверкая красными круглыми фонарями... Словно чудище сказочное близилось.

Загремел второй звонок. Пассажиры спешили занимать места. Суетня поднялась среди них... Поджарый кондуктор бежал вдоль поезда и монотонно выкрикивал жидким дискантом:

— Станция Гр-и, поезд стоит пятнадцать минут!..

Из вагонов вылезали заспанные пассажиры.

Примечания

Марево, мираж. *(Прим, автора.)*

[^^^]